

В. Г. Белинский

Сказка за сказкой. Том II



Виссарион Григорьевич Белинский

Сказка за сказкой. Том II

«...Второй том «Сказки за сказкой» также не без хороших, как и не без плохих вещей. Из четырех заключающихся в нем повестей нам больше других нравится повесть г. Кукольника «Позументы». Мы уже не раз имели случай замечать, что г. Кукольник мастер писать интересные рассказы из времен Петра Великого. Главные достоинства их – простота, естественность и правдоподобие. Заметно, что он изучал эту эпоху и вник в дух ее...»

**Виссарион Григорьевич
Белинский
Сказка за сказкой. Том II**

СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ. Том II. Санкт-Петербург. В типографии Штаба Отдельного корпуса внутренней стражи. 1842. В 8-ю д. л. 379 стр.

Благодаря прекрасной повести г. Кукольника «Сержант Иван Иванович, или Все за одно», издание «Сказка за сказкой» обратило на себя общее внимание: первый выпуск, заключавший в себе повесть, о которой мы говорим, был скоро раскуплен{1}. Такая же блестящая участь, по-видимому, ожидала и следующие повести под общею фирмою «Сказка за сказкой»; но как общего у них с первою была только одна фирма и как каждая следующая повесть была все хуже и хуже предшествовавшей, то публика, приобретши первый выпуск, не захотела иметь последующие. Чтоб помочь горю, все выпуски были переплетены в одну книгу, на заглавии которой было выставлено: *Том I*. Ради одной первой повести можно купить и весь том: так сделали, вероятно, многие, которые не успели заблаговременно приобрести «Сержанта Ивана Ивановича Иванова, иди Все за одно». Опыт – великое дело в искусстве выгодно спускать с рук книги!

Второй том «Сказки за сказкой» также не без хороших, как и не без плохих вещей. Из четырех заключающихся в нем повестей нам

больше других нравится повесть г. Кукольника «Позументы». Мы уже не раз имели случай замечать, что г. Кукольник мастер писать интересные рассказы из времен Петра Великого {2}. Главные достоинства их – простота, естественность и правдоподобие. Заметно, что он изучал эту эпоху и вник в дух ее. Каждое лицо, в каком бы оно ни было положении, говорит у него *своим и своего времени* языком. Борьба, – то смешная и комическая, то достолюбезная и трогательная, – борьба европеизма и народности просвечивает и в понятиях и в языке действующих лиц тех рассказов г. Кукольника, которых содержание взято из эпохи Петра Великого. Долго было бы распространяться о том, как у него это делается, и для удобнейшего доказательства выписываем несколько мест из «Позументов».

К новгородскому почтмейстеру, отставному сержанту, Богдану Кирилловичу Чегликову зашел, по своему обыкновению, приятель его, новгородский воевода и отставной капитан, Федор Ильич Шаплыгин. Отправив почту, хозяин заметил, что гость собирается уходить.

– Что ты, что ты это? Помилуй, Федор Ильич, куда ты в такую стужу?

– Эх, Богдан Кирилыч, старому солдату мороз потеха. У меня, что принадлежит до левой руки, так не совсем хорошо. В Польше по левое плечо, так сказать, оторвало, а ноги... могу похвастать. И теперь без привалу, на три перехода, хоть сейчас...

– Что ты это, Федор Ильич, право не по-соседски. Просидел со мной за полночь, компанства ради; я зевнул, а ты и обиделся.

– Бог с тобой, Богдан Кирилыч, зевай себе сколько хочешь; стану я обижаться! На всякое чихание не наздравствуешься.

– Так отчего же ты идешь?

– Иду, потому что пора. Боря у меня один дома с няней. Ведь мы не в городе. Добрая верста до моей усадьбы. Без хозяина всякое может прилучиться. На людей не надейся. Прощай, Богдан!

– Экой ты, право! Когда-то еще придет Автамон, а я тут сиди один. Ну, повремени, пока почта. Выпьем себе настоечки, а если хочешь, так мы с тобой московские куранты почитаем.

– Посидеть, изволь, посижу, а уж от курантов уволь. Право, это куранты недоброе; зачем народу знать, что за морем делается? Добро бы еще сенатские али другие какие нужные указы друковали, а то обо всяких немцах пишут, что который по своим городам делает.

– Ну, брат, извини! Там иной раз такое начитаешь, что во всю жизнь не только не увидишь, да и не услышишь. Ну, знаешь ли, примерно, что турецким султаном перскому шаху штильштанд аккордован?

– Да это, брат, каждый солдат знает, который был под Азовом.

– Ну, а что?

– Да известно что...

– Не отвливай, скажи что?

– Да как же я скажу, когда Настасья Ивановна не спит...

– Уж это мой грех, говори...

– Ну, изволь, когда привязался; это, значит: что турецкий султан приказал перского шаха на кол посадить.

– Как на кол?

– Ну, да, на кол, на шпиль; это, ради страшности такой, по-немецки и на-

писано.

– Вот что! а я совсем другой толк давал...

Поутру, после этого разговора, Богдан Кириллович так раздумался сам с собой:

Спасибо государю: правда, поцеловала меня проклятая картечь в ногу; орех кажется, а на всю жизнь окалечило; умирать приходилось; так нет, на казенный кошт вылечили... Спасибо светлейшему! Слово сказал ямской канцелярии – Богдан почтмейстером в Новгороде, Богдан в почете, Богдан женат, Богдан семь лет живет припеваючи; у Богдана Наташа по седьмому году красавица, у Богдана наследник есть, пойдет в солдаты; если глупая картечь не заденет, махнет и в генералы; нынче заслуга – что прежде род – стал и новый порядок; генерал, почт-директор, по всей дороге почтмейстеров чуть не палкой взыскал, а Богдану спасибо. Не только мелкие дворяне Богдану в дружбу пошли, да и большие, и чиновники, и богатые... Вот Фома Иванович Зяблик – и бригадир, кажется, а всякий раз к себе в Туровку

засывает в гости, и уж не я буду, если не приготовил на каждое рыло наше по гостиницу. А что в самом деле, Настасья Ивановна, нынче день не почтовый; почитай два дни никакой почты не будет; вторничная отошла, а пятничная в субботу придет, а вторничная из Москвы раньше пятницы не будет. А у нас прием в среду прошел, а до пятницы далеко. Как ты думаешь?

– Не мое дело об этом думать. У меня своя забота, надо Никитку искупать по вечеру; так и благо, что эти почтари холодить избы не будут.

– Да не то, Настенька! Я думал бы к его высокородию, к Фоме Иванычу съездить; здешний ям даром меня свозит, а ведь его высокородие не без причины в Туровку кличет. Видно, желает чем ни есть наше к нему почитание награждать!

– Так что же? Ведь не я поеду, не мое и дело; поезжайте с богом, расходу меньше.

– И то правда! Так я поеду, Настенька!

– Поезжайте!

– Постой же, я Автамону скажу...

И почтмейстер распорядился. Вернул-

ся Богдан Кириллович, оделся в Автамонов тулуп и кеньги; шапка зимняя своя была; подпоясался почтальонским патронташем с пистолетами; Автамон про случай зарядил их пулями. И сани готовы.

– Ну, прощай, Настенька, – сказал Богдан Кириллович и стал жену и детей целовать; отцеловал детей да хотел на иконы перекреститься. Глядь, сундучок стоит.

– Послушай, Настенька, ты ларец-то побереги, припрядь: тут за тысячу рублей казенного сбора.

– Ах ты господи, беда какая, я от страха умру. Слышал ты, что вчера Ефим рассказывал?

– Вздор, Настенька, суший вздор; воры далече, а я про случай Автамону накажу, чтобы не отлучался, а ты знаешь Автамона – не выдаст. Да и под самым городом; ямщики тут же; две пары почтовых лошадей на конюшне. Вздор.

– Так смотри же, Богдан Кириллович, не забудь Автамону сказать...

– Да вот Автамон в конторе стоит. Слышишь, Автамон, тут за тысячу

рублей казенных денег, так не плошай, никуда не отходи, если приезжие будут, сюда никого не пущай; в приемные комнаты пусть идут; станция велика! Слышишь?

– Слушаю-с, ваше благородие, не изволь беспокоиться; у меня топорик есть, за боевое всякое ружье справится.

– То-то же, гляди!

Почтмейстер уехал, а Настасья Ивановна, сама не зная зачем, схватила ларец, потрясла – золотом и серебром отзывается; ей так стало страшно, что не приведи господи; села она на ларец, да и давай Никиту качать, а Наташа с куклой по-своему лепечет...

Прошел час, другой. Настасья Ивановна со страхом освоилась, только все ларчика из-под мышки не выпускает; стала она и обед стряпать, а ларец все на глазах; то и дело Автамона кличет: «Тут ли ты, Автамон?..»

– Тут, матушка, не бойся, двери на щеколде, топорик точу про случай.

И точно, Автамон отпускал старую, ржавую секиру с особенным усердием. Чем чище становилось железо, тем с большею жадностью засматривались

глаза Автамона на тусклое, широкое поле топора, на тонкую линию острия, и старые глаза мутились, и топор выпадал из черствых рук его.

– Тьфу ты, нечистая сила! – бормотал Автамон. – Такого со мной ни под турком ни под шведом не приключалось.

– С кем ты там разговор ведешь, Автамон?

– Так про себя бормочу... – отвечал он громко, а потом сказал тихо: – Да, про себя! Нет! С чертом! Сгинь, пропади, нечистое наваждение!

Автамон подошел к дверям своим, посмотрел, плотно ли заперты, влез на полати, да и давай ко сну себя неволить; закрыл глаза, а в глазах искры – будто из кошки ночью огнем сыплет; те искры час от часу круглее, крупнее, да и стали добрыми кружками, то серебряником прокатится, то упадет златницей. Не спится Автамону; видит, беда, да сам не знает, какая. Затянул было песню во всю ивановскую; голос его от военных невзгод был такой синый, будто ветер поздней осенью; перепугался Никитка, да и давай кричать. Почтмейстерша вышла в

почтальонскую избу, глянула на топор да чуть не обомлела, а с полатей Автамон пуще кричит.

– Полно, Автамонушка! – говорит почтмейстерша, – не пугай детей!

– Просим прощенья! Виноват, что-то за сердце укусило, так я хотел злую муху песней согнать. Ах ты господи, чудно право... Скоро ли-то барин воротится?..

– Э, Богдан Кириллович любит кутнуть! Я больно боюсь, чтобы ему не запоздать. Того гляди, к приему не вернется...

– Не изволь беспокоиться! Барин службу знает и нас службе учил...

Ушла почтмейстерша, да и воротилась; вынесла Автамону стаканчик настойки, штей миску и добрую окраину хлеба.

– Кушай на здоровье! – молвила и пошла с Наташей обедать. Автамон молча стоял перед настойкой и думал крепкую думу: «Пить или не пить! Экая добрая! А отчего добрая? недоброго боится; а в другой день барина журит, зачем старому Автамону рюмку водки пожаловал, а и рюмка-то

с наперсток. Право, не знаю, пить или не пить!.. Да уж куда ни шло; от стакана не охмелею».

Проглотил Автамон стаканчик, да и рожу скорчил, будто не любо.

– Ух, обожгло! А ты чего глядишь! пошел прочь! – И с неистовством бросил секиру под лавку. – Лежи там, пока спросят.

Стал Автамон шти хлебать, да за каждым хлебком и вздохнет. Не доел Автамон, да и задумался; перед ним рыжий мужик стоит, да и ухмыляется; не то чтобы зубы у него из-под усов торчали, а кабаньи клыки, не то чтобы ногти на руках, а длинные рукавицы, да из-под тех рукавиц черные когти вылезли... а глаза не глаза: уголья; да их будто кто изнутри раздувает: так и пышут, да и огонь тот какой-то заколдованный; не то чтобы страх наводил, а будто в стужу банный дух – так и нежит, все косточки разбирает. Любо смотреть на рыжего, а рыжий собою хуже всякого пугала; постоял рыжий, постоял, да и нагнулся, взял топорик, да и хотел в контору.

– Не замай! – крикнул Автамон, – я и сам справлюсь!

– Оно и лучше, – сказал рыжий. – А деньгу, пожалуй, всю себе возьми: у меня и своей довольно!

– Ой ли?

– Да! а на тысячу рублей нашему брату, простому человеку, и веку не хватит столько денег изжить. Ну, так прощай! сегодня встренемся! – И ушел рыжий.

Автамона будто что укололо; проснулся; на дворе стук; возятся ямщики; сани закладывают; не успел он и в окно поглядеть, проезжий сел, да и уехал.

– Гм! Да зачем же топор? – сказал Автамон. – И так отдаст. Только разве для страху ей показать. А уж деньги мои... Заживет Автамон; а закричит, проклятый Сергей ямщик услышит; только один и остался...

Зазвенел колокольчик. Не прошло двух-трех минут, ямщик Сергей!!!!!!

– Возьми, Автамон, ключи... – кричит ямщик. – Господин какой-то приехал, никого нет; я барина повезу на моей паре, а с той станции ямщики дать не

хотят, говорят, что уж дома покор-
мят; так возьми ключи...

– Пожалуй!

Отворил Автамон двери, взял ключи,
да за думой своей черной забыл двери
запереть и сел в избе на лесенке, кото-
рая на чердак вола. Сидит. Смерклось,
а секира в темноте светится... Стал
он озираться; показалось ли ему, али и
заправду из-за печки рыжий глядит,
будто спрашивает: «Что же ты, Ав-
тамон?»

– А вот сейчас, была не была! – И по-
шел в контору.

– Кто там? – спросила Настасья Ива-
новна дрожащим голосом.

– Да что, родимая, право, не в мочь!
Крепился, крепился, не могу, подай
деньги!

– Деньги?

– Деньги, родимая, видишь – руки дро-
жат, топорик под лавкой; сердце
жжет; не супротивься; я тебя не тро-
ну; давай ларчик... В лес... Рыжий про-
водит.

– Что это с тобой, Автамон! Ты чест-
ный служивый; Богдан Кириллович на
тебя, что на самого себя надеялся...

– Да и я надеялся, да видишь – не устоял!

– Да вспомни, Автамон, бога! Ведь ты будешь хуже всякого вора; вспомни, какой у нас царь и строгий и всезнающий, от него не уйдешь; ведь ты же и крещеный, не какой нехристь, Автамонушка, ты у нас что сын...

– Быть по-твоему! – сказал Автамон, махнул рукой и пошел в избу. Настасья Ивановна прыгнула с постельки, ларчик под мышку, да и бежит к дверям; приложила ушко, слышит – ревет Автамон, видно, богу плачется; не тут-то было; опутал его нечистый; зло слезы выжимает; схватился он с прилавка, поднял секиру, кричит: «Не могу, суди меня бог и государь, не могу!» – и бежит в контору.

Обмерла Настасья Ивановна, да за дверьми и притаилась, а он словно бешеный за перегородку. Кричит: «Поддай, ведьма, деньги, поддай!» Тут Настасья Ивановна в избу почтальонскую, да на лесенку, да на чердак, да дубовую дверь и задвинула...

– Стара шутка! – кричит Автамон, – не уйдешь, – да Никитку из колыбели

за ногу схватил, свечу взял, да на лешенку и лезет.

– Поддай деньги! – кричит, – не то хвачу твоего щенка об стену! Поддай деньги!

– Не могу! – кричит почтмейстерша не своим голосом. – Не мое, царское! Тут Наташа выбежала, видит или так, не видя, что двери отперты, выскочила на двор, кричит во все детское горло... Ан тут у ворот сани: офицер какой-то прыгнул.

– Сюда, сюда! – кричит Наташа; офицер за нею, в избу; а там уже и ребенок и Настасья Ивановна в крови плавают; офицер шпагу наголо; Автамон не поддается; офицер пуще, пуще, да и проколол Автамона; вдруг выстрел, завизжала пуля, офицеру в самое сердце влилась, тот повалился на мертвого Автамона, да и дух вон...

– Вот тебе, разбойник! – сказал почтмейстер, держа в руках пистолет. – Бедный Автамон! дорого ты за усердие заплатился!

Поздно узнал свою ошибку бедный Богдан Кириллович – и скрылся неизвестно куда... Дочь его, Наташу, приютил к себе Федор

Ильич. Наташу, как родную, полюбили все в доме, и Федор Ильич, и сын его, Борис Федорович, мальчик лет двенадцати, который отличался склонностью к женским работам и славно ткал ручники, под руководством няни своей, Акулины. Прошло пять лет. В один день капитан отправился в город, взявши с собой Наташу, а воротился один. Грустно ему было и самому, грустно ему было и за сына, и он, со слезами на глазах, открыл ему, что отдал Наташу ее дяде, нарочно приехавшему за нею из Петербурга.

– Да кто же наш злодей? – спросил Боря.

– Говорят тебе, родной дядя, царский комиссар, на Питербурхе казенной фабрикой заправляет; там у него всякую парчу и позументы делают из царского золота и серебра. Видишь, в какой он у царя вере.

– Да как же он про Наташу сведал?

– Куранты, проклятые куранты, чертова выдумка! Говорит: от соседа взял, скуки ради, за старые годы, да и начитал, чтоб у него глаза...

– Да разве там написано?

– Все написано, чтобы тем друкарям добра не было; у них сам сатана на послугах, всё знают и друкуют на пагубу честным людям.

– Эх, родимой, да ведь и эти куранты по царской воле.

Это замечание остановило капитана. Печаль его унялась. Он самодовольно посмотрел на сына, поцеловал его в лоб и молвил с гордостью: «Спасибо, Боря, спасибо! глуп я стал. Учи, учи отца тому же, чему я тебя учил. Нет в курантах зла, коли на то царская воля. Зла царю не нужно, а тут, видно, так господу угодно, а мы перед ним смиримся и помолимся».

Недолго жил после того капитан: отправившись на поимку разбойников, он умер смертью солдата. Боря махнул в Питер, да и втерся на позументную фабрику к дяде Наташи, скрыв свое дворянское происхождение, а Наташу уговорил и виду не показывать, что она знает его.

– Дядя твой не моги знать, что мы вместе выросли, кто я; будем жить, будто незнакомые, пока не придет час

воли божией.

*– Как! и не разговаривать и не гулять!
Так зачем же ты ко мне пришел?*

*– Гм! Погоди годок, другой, сама смек-
нешь. И я думал по-твоему, да горе на
иной лад разум перевернуло...*

Как все это естественно, верно природе, живо, рельефно! Мы не будем рассказывать дальнейших походов Бори, чтоб не лишить читателей удовольствия самим узнать их. Скажем просто, что повесть выдержана вся до конца, и в целом и в подробностях, исполнена интереса и жизни.

Не такова другая повесть г. Кукольника, «Жан Батист Людо»: в ней все ложно – и событие и характеры; первое похоже на сказку вроде «не любо – не слушай»{3}, а вторые или на карикатуры, или на образы без лиц. Особенно невыносимы в ней сцены любви, сентиментальные до приторности. При всем том она не лишена заманчивости рассказа и должна нравиться тем читателям, которые в повести ищут сказки, как дела от безделья.

«Савелий Граб, или Двойник», повесть Казака Луганского{4}, отличается, как все пове-

сти этого даровитого писателя, прекрасными подробностями, обличающими в авторе многостороннюю опытность, *бывалость*, если можно так выразиться, наблюдательность и наглядность. Очевидно, что богатая сокровищница разнообразных впечатлений и бесконечных воспоминаний служит Казаку Луганскому неисчерпаемым источником вдохновения. Он жизнь приобрел себе талант, и талант, – кто не согласится в этом, – примечательный. Сюжет «Савелия Граба» несколько сбивается на романический. Герой романа, *Ивася*, оказывается сыном одной польской графини, которая, умирая, отказывает ему значительное имение; потом оказывается, что сын польской графини не *Ивася*, а *Савка*, повар, лакей и кучер новороссийского помещика Бабачка; дело в том, что при рождении шестипалый графчик был подменен пятипалым крестьянским мальчиком, родители которого воспитали шестипалого графчика за своего родного сына, а пятипалый сын их отдан был графинею на воспитание тоже одному из новороссийских помещиков, родом поляку. Когда вся эта путаница распуталась, ве-

ликодушный Ивася уступил Савке графский титул и отдал бы ему все свое имение, если бы в свою очередь великодушный Савка не разделил с ним этого имения. Напрасно: к Савкиной роже графство не пристало, ибо графом можно родиться, но настоящим графом можно сделаться только через воспитание, через первые живые впечатления детства. Несмотря на все это, повесть Казака Луганского очень интересна: в рассказе много истины и юмора, в отступлениях и рассуждениях много ума и оригинальности. Даже самые странности и парадоксы автора носят на себе отпечаток такой достолюбезности, что доставляют в чтении и удовольствие. Надо сказать, что автор заставил Ивасю хлопотать о преобразовании русского языка, испорченного русскими писателями от Карамзина до Пушкина включительно (об остальных уже и говорить нечего); по его мнению, чистый неискаженный русский язык сохранился только в простом народе. Действительно, для выражения простонародных идей, немногочисленных предметов и потребностей ограниченного простонародного быта простона-

родный язык гораздо обильнее, гибче, живописнее и сильнее, чем язык литературный для выражения всего разнообразия и всех оттенков идей образованного общества. И это понятно: простонародный русский язык сложился и установился в продолжение многих веков; литературный – в продолжение одного века; первый, раз установившись, уже не двигался вперед, как и мысль простого народа; второй – бежит, не останавливаясь, не переводя духу, вследствие непрерывного вторжения новых понятий и безостановочного развития, а следственно, и движения старых идей. Казак Луганский утверждает, что не должно говорить так: «Казак оседлал лошадь свою как можно поспешнее, посадил товарища своего, у которого не было коня, к себе на круп и следовал за неприятелем, имея его постоянно в виду, чтоб при благоприятных обстоятельствах на него кинуться»; а должно вместо того говорить: «Казак седлал *уторопь*, посадил бесконного товарища *на забедры*, следил неприятеля в *назерку*, чтоб *при спутности* на него ударить». Воля его казацкой удали, а мы, люди письменные, право, не

понимаем ни *уторопи*, ни *назерки*, ни *забедр*, ни *спопутности*. Переменять же нам Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Грибоедова, Пушкина на гувернеров из простонародья в овчинных тулупах и смурых кафтанах – уж поздно.

«Мастерская и гостиная» – была г. П. Фурмана служит для 2-го тома «Сказки за сказкой» балластом, без которого не может обойтись никакой сборник повестей, претендующий на объемистость и разнообразие содержания. Это одна из тех «былей», которых нигде не бывает, кроме плохих повестей бездарных сочинителей. Какой-то, изволите видеть, художник Герман влюбился на выставке академии в «барышню», не Марью, а Марию, а она Мария выходит замуж за богатого дурака, Чижикова. Герман прибежал к ней, как полоумный, и, наговорив ей с три короба великолепной чепухи, побежал к профессору Ботипу, да тут же (весьма кстати) узнал, что мамзель Ботип его «обожает», а узнав это, он сию же минуту (зачем откладывать в долгий ящик!) начал ее «боготворить», предлагая ей руку и сердце. Друг Германа, Ламов, питал к

Эмилиии несчастную страсть, и когда она вышла замуж за его друга, он уехал с горя за границу и, гуляя по швейцарским Альпам, сперва запел «Не белы-то снеги», а потом заплакал, вспомнив о друге, отнявшем у него все счастье. Повесть, как по всему видно, самая «идеальная», без всякой примеси «реальности», даже со стороны здравого смысла. Знание «гостиной» (salon) в этой повести удивительное: «барышни» то и дело мешают французские фразы с русскими а la madame de Kourdukoff [1], и Мария не иначе называет Германа, как *мьсе Ненри*, а он ее не иначе, как Мария Петровна...

В «Медведе», новой повести графа Соллогуба, напечатанной, как известно, в «Утренней заре» на 1843-й год, есть отрывистый и бессвязный разговор четы, которая, догадываясь о своем взаимном чувстве, робко порывается к объяснению. После этого мастерски изложенного разговора автор замечает от себя:

Я всегда удивлялся, как гладко и красноречиво объясняются влюбленные в повестях и комедиях. Слова их так и сыплются чувствительным градом, и

самые страстные признания так тщательно отделаны и округлены, что любо читать. – На деле бывает иначе. Сомнение и неизвестность вселяют страх в самого храброго человека. Смертная бледность покрывает чело; судорожная дрожь объемлет все члены; слова прилипают к устам и, как бы объятые пламенем, с трудом вылетают одно за другим.

Замечание глубоко справедливое! Но так может думать только человек с талантом, который внутри себя носит ясновидение тайн чувства, им изображаемого: бездарность же, ничего не находя в пустой груди своей, сидя с пером в руке, ловит в памяти своей – словно мух в воздухе – читанные ею там и сям выражения чуждых ее натуре страстей и чувств... Но мы удалились от предмета. Вот, между прочим, как в повести г. Фурмана говорит одно действующее лицо своей любезной:

– Простите, простите мою дерзость!.. – сказал он наконец, оставив руку ее. – Но я так счастлив! о, да, я счастлив. Все, что я ощущаю в эту минуту, так много для меня, что мне

кажется, будто я просыпаюсь после долгого, тяжкого сна! Я говорю, что люблю вас (,) и взор ваш не горит негодованием вы не отгоняете меня... я даже смею надеяться, что и вы некогда, оценив любовь мою, полюбите меня! Все, все в глазах моих приняло другой вид! небо сияет необыкновенным светом – ветерок сквозь это растворенное окно навевает благоухания, которые я впервые вдыхаю, – я должен перучиться жить, дышать, говорить, для другой жизни, другого воздуха других ощущений – я люблю вас! и в этом слове вся моя жизнь, она вся в вашей любви; почести, богатство, слава... пустые звуки, они мне не нужны я обладаю сокровищем, ничем не заменимым: небольшое наследство отца моего, труд неутомимый и ваша любовь – чего ж мне более? Ах (,) Мария, все, чего ищут и чему завидуют люди, золото, этот презренный металл, который они обоготворяют, различие почестей и славы, все это ничто перед любовью, этим блаженным чувством, которое я к вам питаю и которого слепцы, ищущие богатств, почестей и славы (,)

не могут понять! О, теперь я постигаю, почему доселе был ко всему этому равнодушен... Я ожидал страсти, единственной, могущей наполнить мое сердце (,) и наполнить его столько, чтобы вытеснить все остальное!..

Издание «Сказки за сказкой» уж чересчур серенько; не мешало бы ему быть и побелее и поисправнее со стороны знаков препинания.

Сноски

1

на манер г-жи Курдюковой (*фр.*){5}. – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Повесть Н. В. Кукольника вызвала недовольство в правительственных кругах (см. об этом: М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1908, с. 133–134). Белинский узнал об этом позже (см. его письмо к М. С. Щепкину от 14 апреля 1842 г.).

[^^^]

2

Например, в статье «Русская литература в 1842 году».

[^^^]

3

Белинский сравнивает повесть Кукольника с лубочным изданием И. Гурьянова «Не любо – не слушай, лгать не мешай, или Чудная и любопытная жизнь Пустомелева, помещика Хвастуновской округи, села Вралихи, лежащего при реке Лживке» (М., 1833).

[^^^]

4

Казак Луганский – В. И. Даль.

[^^^]

Г-жа Курдюкова – героиня шуточной поэмы И. П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей, дан л'этранже». (т. I–III. СПб., 1840–1844). В своей речи г-жа Курдюкова смешивает русские и французские слова самым невероятным образом.

[^^^]

[^^^]